### Голос горлицы

## Сомерсет Моэм

Я не мог решить, нравится мне Питер Мелроуз или нет. Он опубликовал роман, вызвавший некоторый интерес среди довольно скучных, но весьма достойных людей, вечно рыщущих в поисках новых талантов. Пожилые джентльмены, у которых нет иных дел, кроме как ходить на званые завтраки, превозносили его с девичьим пылом, а гибкие миниатюрные женщины, не ладившие со своими мужьями, считали, что он подает надежды. Я прочел несколько рецензий. Они явно противоречили друг другу. Одни критики заявляли, что этот первый роман выдвинул автора в число лучших английских романистов; другие ругали его. Я не прочел его, ибо по опыту знал, что, если книга вызывает сенсацию, следует читать ее не раньше, чем через год. И просто удивительно, до чего же много оказывается книг, которые вовсе не нужно читать.

Но случилось так, что в один прекрасный день я встретился с Питером Мелроузом. Я получил приглашение на коктейль и принял его, предчувствуя неладное. Прием был на самом верхнем этаже перестроенного дома в Блумсберри, и, когда я одолел четыре пролета, у меня слегка перехватило дыхание. Хозяйками дома были две очень полные дамы средних лет. Женщины такого типа разбираются в автомобильных моторах, любят бродить под дождем и есть прямо из бумажных пакетов, но при всем том остаются женственными. Гостиная, которую они называли «наша мастерская» (хотя, располагая вполне достаточными средствами к существованию, ни одна из них в жизни палец о палец не ударила), была большой пустой комнатой; обстановку составляли стулья из нержавеющей стали (они выглядели так, словно с трудом выдерживали весьма солидный вес своих владелиц), столики под стеклом и широкая тахта, покрытая шкурой зебры. Стены были увешаны книжными полками и картинами наиболее известных в Англии подражателей Сезанна, Брака и Пикассо. На полках, помимо нескольких любопытных книжечек восемнадцатого столетия (ибо порнография не имеет возраста) стояли только произведения ныне живущих авторов, большей частью первые издания. И я был приглашен для того, чтобы подписать кое-какие собственные книги.

Народу было очень мало: из женщин — еще одна, должно быть, младшая сестра хозяек, потому что, хоть она тоже была полной, рослой и энергичной, но во всем этом уступала им. Я не расслышал, как ее зовут, но она откликалась на имя Буфалз. Из мужчин кроме меня был Питер Мелроуз. Это был совсем молодой человек, лет двадцати двух — двадцати трех, среднего роста, но с нескладной фигурой, из-за чего он казался квадратным. У него была красноватая кожа, слишком туго обтягивающая лицо, довольно большой семитский нос, хоть Мелроуз и не был евреем, и тревожные зеленые глаза под кустистыми бровями. В каштановых, коротко подстриженных волосах виднелась перхоть. На нем была коричневая норфолкская куртка и серые фланелевые брюки — так одеваются студенты художественных школ, шатающиеся с непокрытой головой по Кингз-роуд в Челси. Малоприятный молодой человек. Манеры его также не отличались привлекательностью. Он был заядлым спорщиком, самоуверенным и нетерпимым к чужому мнению. Он искренне презирал своих собратьев по перу — писателей — и высказывался о них весьма энергично. Удовлетворение, которое я получал от его бойких наскоков на авторитеты — сам я считал, что он впадает в крайность, но из осторожности ему не перечил, — портила лишь уверенность в том, что, не успею я выйти за порог, он точно так же расправится и с моей собственной репутацией. Он умел говорить. Он был занятен и временами остроумен. Я бы смеялся над его остротами еще охотнее, если бы эти три дамы не реагировали на них слишком уж бурно. Они к месту и не к месту хохотали во все горло над каждым его словом. Он говорил немало глупостей, потому что болтал без умолку, но сказал также и кое-что умное. У него был свой взгляд на мир, — не устоявшийся и не столь оригинальный, как ему казалось, но полный искренности. Более всего удивляла его страстная, всесокрушающая жизнеспособ­ность, которая, словно жаркое пламя, сжигала его, прорываясь с нестерпимой яростью. Это пламя бросало отблеск на всех окружающих. В Мелроузе кроме удивительной его жизнеспособности было что-то, и, возвращаясь домой, я не без любопытства размышлял о том, что из него выйдет. Трудно сказать, был ли у него талант (так много юнцов могут написать толковый роман — это еще ничего не значит), но мне почудилось, будто по человеческим качествам Мелроуз несколько отличался от других. Он был из тех, которые в тридцать лет, когда время смягчает резкость их характера и жизненный опыт подводит их к выводу, что они не так умны, как думали раньше, вдруг превращаются в интересных и приятных людей. Но я не рассчитывал встретиться с ним когда-нибудь еще.

Поэтому я удивился, получив несколько дней спустя его роман с чрезвычайно лестным посвящением. Я прочитал роман. Он был явно автобиографическим. Действие происходило в маленьком городке в Сассексе, действующие лица принадлежали к высшим слоям буржуазии и лезли из кожи вон, лишь бы создать у других впечатление, что их доходы больше, чем есть на самом деле. Юмор у Мелроуза был довольно грубый и пошловатый. Он меня раздражал, так как в основном это были насмешки над людьми за то, что они стары и бедны. Питер Мелроуз не знал, каково приходилось этим несчастным, не знал, что усилия, необходимые, чтоб сражаться с нищетой, заслу живают скорее симпатии, нежели осмеяния. Но в этом романе были описания местечек, мелкие зарисовки и изображения сельской жизни, сделанные великолепно. Они говорили о присущей автору тонкости и ощущении духовной красоты материальных предметов. Книга была написа налегко, без аффектации, автор хорошо ощущал звучание слова. Но что делало ее особенно примечательной, что, по моему мнению, и привлекло внимание публики, так это страсть, которой была пронизана любовная история, лежавшая в основе сюжета. Сюжет этот, в соответствии с современной манерой, был довольно необработанным, и роман, опять-таки в соответствии с современной манерой, заканчивался туманно, без какого бы то ни было определенного итога, так что под конец все оказалось в том же положении, что и вначале; но вам запоминался рассказ о юной любви, романтической и тем не менее чувственной, описанной так живо и глубоко, что у вас спирало дыхание. Она трепетала на книжных страницах, как пульс жизни. Не осталось ни одного потаенного уголка. Все было нелепо, неприлично и прекрасно, словно силы природы. Конечно, это была настоящая страсть. Ничто в мире больше не может так волновать и внушать такой благоговейный трепет. Я написал Питеру Мелроузу все, что думал о его книге, а потом предложил позавтракать вместе. На следующий день он мне позвонил, и мы условились о времени. Когда в ресторане мы сели за столик друг против друга, я с удивлением обнаружил, что он робеет. Я предложил ему коктейль. Он говорил довольно бойко, но я заметил, что он не в своей тарелке. У меня создалось впечатление, что его самоуверенность была позой, призванной скрыть, быть может и от самого себя, собственную робость, которая мучила его. Манеры у него были резкие и неловкие. Он мог сказать грубость, а потом засмеяться нервным смешком, чтобы скрыть свое смущение. Хоть он и напускал на себя браваду, но сам все время жаждал, чтобы вы его приободряли. Раздражая вас высказываниями, которые, по его мнению, могли быть неприятны, он пытался заставить вас признать, хотя бы молчаливо, что он так хорош, каким сам себе кажется. Он стремился презреть мнение своих товарищей, ничего важнее этого для него не было. Я счел его довольно неприятным молодым человеком, но ничего не имел против него. Вполне естественно, что умные молодые люди довольно неприятны. Они отдают себе отчет в собственных талантах, но не знают, где и как их применить. Они сердиты на мир за то, что тот не воздает должного их достоинствам. У них есть что дать миру, но ни одна рука не протягивается, чтобы взять это что-то. Они с нетерпением ждут славы, на которую смотрят как на должное. Нет, я ничего не имею против неприятных молодых людей; вот когда они обаятельны, тут я начинаю держать ухо востро.

Питер Мелроуз был чрезвычайно скромен в отношении своей книги. Когда я похвалил в ней то, что мне понравилось, сквозь красную кожу его лица проступил румянец, а мою критику он принял с таким самоуничижением, что чуть не привел меня в замешательство. Он получил за книгу очень мало денег, и его издатели давали ему ежемесячно небольшое содержание в счет гонорара за следующую книгу. Он ее только начал, но хотел уехать подальше, чтобы писать в тишине, и, зная, что я живу на Ривьере, спросил меня, нет ли там дешевого спокойного местечка с морским купанием. Я предложил ему приехать и про вести у меня несколько дней, чтобы он мог осмотреться, пока не найдет себе чего-нибудь подходящего. Когда я сделал ему такое предложение, он весь зарделся, а его зеленые глаза заискрились.

— А я вам не помешаю?

— Нет. Я буду работать. Могу предложить вам разве что ночлег и еду три раза в день. Будет очень скучно, но вы сможете делать все, что хотите.

— Великолепно! А если я решусь приехать, можно будет вам сообщить?

— Конечно.

Мы расстались, и через неделю или две я отправился домой. Это было в мае. В начале июня я получил от Питера Мелроуза письмо, в котором он спрашивал, всерьез ли я пригласил его провести у меня несколько дней и может ли он приехать в такое-то время. Конечно, тогда я говорил всерьез, но теперь, месяц спустя, я помнил только, что это заносчивый, плохо воспитанный юнец, которого я видел лишь дважды и которым ни в малейшей степени не заинтересовался, и сейчас мне уже не хотелось, чтобы он приезжал. Мне казалось, что, вероятнее всего, с ним будет тоска зеленая. Я жил очень размеренной жизнью и встречался с немногими людьми. И я думал, что, если он окажется таким грубым, каким, я знаю, он может быть, а мне как хозяину придется сдерживаться, это будет слишком большим напряжением для моей нервной системы. Я уже представлял себе, как терпение мое лопается и я звоню, чтобы собрали его вещи и подали машину и чтобы через полчаса духу его здесь не было. Но ничего нельзя было сделать. Если он немного поживет у меня, он сэкономит на столе и квартире, а если он измучен и несчастлив, как он об этом пишет, возможно, все это пойдет ему па пользу. Я послал телеграмму, и вскоре он приехал.

Когда я встретил его на станции, он в серых фланелевых брюках и коричневой куртке из твида выглядел взмыленным и неопрятным, но, искупавшись в бассейне, переоделся в белые шорты и рубашку Коше и стал до смешного моложавым. Он впервые выехал за пределы Англии и был взбудоражен. Трогательно было видеть, как он восторгается. В непривычном окружении он, казалось, изменил сам себе и стал прост, скромен и ребячлив. Я был приятно поражен. Вечером после обеда в саду, где тишину нарушало лишь кваканье маленьких зеленых лягушек, он начал мне рассказывать о своем новом произведении. Это была романтическая история о молодом писателе и знаменитой примадонне. Тема была навеяна Уидой[[1]](#footnote-1). Я даже развеселился, так как не ожидал ничего подобного от этого прожженного юнца; странно было наблюдать, как мода движется по кругу и поколение за поколением возвращается к одним и тем же темам. Я ни минуты не сомневался, что Питер Мелроуз будет трактовать ее самым современным образом, но все же это была она, та же старая история, которая приводила в восторг сентиментальных читателей трехтомного романа восьмидесятых годов. Мелроуз предполагал перенести действие в начало эдуардианской эпохи[[2]](#footnote-2), вызвавшей у него ощущение фантастически дале­кого прошлого. Мелроуз продолжал говорить. Нельзя сказать, чтобы слушать его было неприятно. Он не замечал, что облекает в беллетризованную форму собственные грезы, смешные и трогательные грезы непривлекательного, непримет­ного молодого человека, который воображает себя возлюбленным невероятно красивой, знаменитой и блестящей женщины. Я всегда получал наслаждение от романов Уиды, и нельзя сказать, чтобы фантазия Питера пришлась мне не по вкусу. Я считал, что Питер с его чарующим даром описания, умением воспринимать материальный мир, ткани, детали обстановки, стены, деревья, цветы, с его умением выразить увлеченность жизнью, страстность любви, клокочущую в каждой клетке его нескладного тела, может написать нечто цветистое, нелепое и поэтичное. Но я задал ему один вопрос:

— А вам случалось встречаться с какой-нибудь примадонной?

— Нет, но я прочел все автобиографии и мемуары, какие только можно было. И основательно проштудировал их. Брал не только то, что на поверхности, но всякими путями добывал разоблачительные штрихи и пикантные подробности.

— И получили то, что хотели?

— Я думаю, да.

Он начал мне описывать свою героиню. Это была молодая прекрасная женщина, правда, своенравная и вспыльчивая, но великодушная. Женщина большого размаха. Музыка была ее страстью; музыка звучала не только в ее голосе, но и в жестах и в сокровенных помыслах. Она не знала зависти, и восприятие ею искусства было таково, что, будучи оскорбленной другой певицей, она простила ее, когда услышала, как великолепно та исполняет свою роль. Она была на редкость щедрой и могла отдать все, что имела, если рассказ о чужом несчастье затрагивал ее нежное сердце. Она была замечательной возлюбленной, готовой отдать всю вселенную человеку, которого любила. Она была умна и начитанна, нежна и бескорыстна. По правде говоря, она была слишком хороша, чтобы в нее можно было поверить.

— По-моему, вам нужно встретиться с какой-нибудь примадонной, — сказал я наконец.

— Но как это сделать?

— Вы когда-нибудь слышали о Ла Фальтероне?

— Конечно. Я читал ее мемуары.

— Она живет здесь, на побережье. Я позвоню ей и приглашу ее на обед.

— Правда? Это было бы чудесно!

— Но не вините меня, если вы найдете в ней не то, чего ожидаете.

— Я хочу знать только правду.

Кто не слышал о Ла Фальтероне! Даже Мельба[[3]](#footnote-3) не могла похвастать большей славой. Теперь Ла Фальтерона уже не пела в опере, но голос ее был все еще прелестным, и она украсила бы собой концертный зал в любой части света. Каждую зиму она отправлялась в длительные турне, а летом жила на вилле у моря. На Ривьере люди счи тают себя соседями, если живут в тридцати милях друг от друга, и в течение последних лет я частенько видел Ла Фальтерону. Она была женщиной пылкого темперамента и прославилась не только своим пением, но и любовными похождениями; она рассказывала о них запросто, и я не редко часами сидел как завороженный, пока она не без юмора, который для меня был одним из самых удивительных ее свойств, услаждала мой слух сенсационными рассказами о своих богатых, а иногда и венценосных обожателях. Я довольствовался тем, что в этих рассказах была хоть какая-то доля правды. Ла Фальтерона выходила замуж раза три или четыре, но ненадолго; одним из ее мужей был неаполитанский князь. Считая, что имя Ла Фальтерона значительнее любого титула, она не взяла имени князя (на самом деле она не смогла это сделать); но ее серебро, ножи и обеденный сервиз были щедро украшены гербом со щитом и короной, и слуги неизменно величали Ла Фальтерону madame la princesse[[4]](#footnote-4). Она называла себя венгеркой, но великолепно говорила по-английски, с легким акцентом (когда помнила об этом) и с интонацией, присущей, как мне сказали, уроженцам Канзаса, объясняя это тем, что ее отец, политический ссыльный, бежал в Америку, когда она была еще ребенком; по она будто не вполне твердо знала, был ли он выдающийся ученый, по павший в беду из-за своих либеральных взглядов, или высокопоставленный венгр, навлекший на себя императорский гнев своим романом с эрцгерцогиней.

В зависимости от обстоятельств среди артистов она была артисткой, а среди лиц благородного происхождения — знатной дамой.

Даже если бы она и старалась быть естественной, ей бы это не удалось, но со мной она была более откровенной, чем с кем бы то ни было. Она питала врожденное презрение ко всем видам искусства. Она искренне считала искусство гигантским обманом, но где-то в глубине души ее забавляли и привлекали те, кто с его помощью добился успеха у публики. Признаюсь, я ожидал, что предстоящая стычка Питера Мелроуза с Ла Фальтероной доставит мне немало сардонического веселья.

Она любила обедать у меня, так как знала, что здесь ее накормят хорошо. Она очень следила за своей фигурой и ела всего один раз в день, но любила, чтоб пища была обильной и вкусной. Я просил ее приехать к девяти, зная, что только в это время к ней приходит аппетит, и заказал обед на полдесятого. Она явилась в четверть десятого. Одета она была в зеленовато-серое атласное платье с очень низким вырезом спереди и совсем без выреза сзади; на ней была нитка крупного жемчуга, дорогие на вид кольца, а на левой руке браслеты из алмазов с изумрудами от запястья до локтя. Два-три камня были действительно настоящие. В ее иссиня-черных волосах виднелась узенькая бриллиантовая диадема. Даже в былые дни, собираясь на бал в Стаффорд-хауз, она не могла бы выглядеть великолепнее. Мы были в белых парусиновых костюмах.

— О, как вы восхитительны, — сказал я. — Но я же говорил вам, что это не званый вечер.

Она окинула Питера быстрым взглядом черных глаз.

— Нет, это именно званый вечер, а как же иначе? Вы мне сказали, что ваш друг — талантливый писатель. Я же — только исполнительница.— Она провела пальцем по сверкающим браслетам. — Это знак почтения к художнику-творцу.

Я удержался от крепкого словечка, которое чуть было не сорвалось с моих губ, но предложил ей коктейль — я знал, какой коктейль она любит. Мне была дарована привилегия называть ее Марией, а она всегда звала меня маэстро. Делала она так, во-первых, понимая, что я при этом чувствую себя полным идиотом, и, во-вторых, хоть в действительности она была моложе меня всего лишь на два-три года, этим она явственно подчеркивала, что принадлежит к другому поколению. Однако иногда она называла меня «нахальный тип». В тот вечер она вполне могла сойти за тридцатипятилетнюю. Черты лица у нее были довольно крупные и как-то не выдавали возраста. На сцене она была прекрасна, и даже в частной жизни, несмотря на большой нос, широкий рот и полные щеки, казалась привлекательной. Она загримировалась под смуглянку, наложила темные румяна, а губы у нее были ярко-алыми. Она выглядела совсем как испанка и, полагаю, что ощущала себя испанкой, потому что в начале обеда у нее был со вершенно севильский акцент. Мне хотелось, чтобы она разговорилась и чтобы Питер смог выудить из нее как можно больше, а я знал лишь одну тему в мире, на которую она могла говорить. Собственно, она была женщиной неумной, но научилась бойко болтать, а потому при первой встрече казалась людям выдающейся личностью, но все это было лишь игрой, и вскоре вы обнаруживали, что она не только не знает, о чем говорит, но ни в малейшей степени не интересуется предметом разговора. Не думаю, чтобы она за всю жизнь прочитала хоть одну книгу. Ее знания о том, что происходит в мире, были ограничены сведениями, которые она собрала, просматривая картинки в иллюстрированных журналах. Ее разговоры о любви и музыке были пустой болтовней. Однажды на концерте, где я был вместе с ней, она проспала всю Пятую симфонию, и я пришел в восторг, услышав позднее, как она говорит кому-то, до чего Бетховен ее волнует — она даже колебалась, стоит ли идти его слушать, ибо, если в ее голове будут звучать эти героические темы, она всю ночь не сомкнет глаз. Так оно и было, она настолько крепко вздремнула во время исполнения симфонии, что ночной сон был ей уж ни к чему.

Но существовала одна тема, которой она никогда не переставала интересоваться. Она развивала ее с неослабевающей энергией. Никакие препятствия не мешали ей возвращаться к этой теме, любое случайно оброненное слово она могла использовать в качестве мостика, чтобы вернуться к ней, и при этом проявляла такие недюжинные умственные способности, которых в ней нельзя было подозревать. В разговорах на эту тему она могла быть остроумной, живой, философичной, печальной и изобретательной. Она призывала на помощь всю свою выдумку, про явлениям которой не было конца, а разнообразию — границ. Этой темой была она сама. Я предоставил ей возможность один раз наскочить на эту тему, а дальше от меня требовалось только вставлять подходящие междометия.

Она была в ударе. Мы обедали на террасе, и полная луна услужливо освещала море, лежавшее перед нашими глазами. Сама природа, будто приноровившись к такому случаю, создала чудесную декорацию. Сцена была окаймлена двумя высокими черными кипарисами, а нашу террасу со всех сторон окружали цветущие апельсиновые деревья, которые источали опьяняющий аромат. Воздух был недвижим, и свечи на столе горели ровно и мягко. Освещение было самым подходящим для Ла Фальтероны. Она сидела между нами, с аппетитом ела, вполне одобрила шампанское и испытывала истинное наслаждение. Она бросила взгляд на луну. На море блестела широкая серебряная дорожка.

— О, как прекрасна природа, — сказала Ла Фальтерона. — Боже мой, и с какими только декорациями не приходится играть! Как же при этом можно петь? Знаете, декорации в Ковент-Гардене просто возмутительные! В последний раз, когда я там пела Джульетту, я им сказала, что больше не выйду на сцену, пока они не сделают что-нибудь с луной.

Питер слушал молча. Он ловил каждое ее слово. Она представляла собой большую ценность, чем я осмеливался мечтать. Ее опьянило не только шампанское, но и собственная говорливость. Послушать ее — так можно было подумать, что она кроткое и незлобивое создание, против которой весь мир. Вся ее жизнь была бесконечной жестокой борьбой с ужасными несправедливостями. Менеджеры поступали с ней подло, импресарио шутили скверные шутки, певцы объединялись, чтоб ее разорить, критики, подкупленные ее врагами, писали о ней скандальные статьи, любовники, ради которых она приносила в жертву все, платили черной неблагодарностью, и тем не менее она всем им нанесла поражение благодаря своей гениальности и редкой сообразительности. С неподдельной радостью, с сияющими глазами она рассказывала нам, как разоблачила их махинации и какие бедствия постигли негодяев, стоявших у нее на пути. Я только удивлялся, как у нее хватает духу разглашать эти позорные истории. Не отдавая себе ни малейшего отчета в том, что она делает, она рисовала себя мстительной, завистливой, черствой, невероятно тщеславной, жестокой, эгоистичной, корыстной интриганкой. Время от времени я украдкой бросал взгляды на Питера и с удовольствием думал о том смущении, которое он должен был испытывать, сравнивая идеальный образ примадонны с безжалостной действительностью. У Ла Фальтероны не было сердца. Когда она на конец ушла, я повернулся к Питеру с улыбкой.

— Ну, — сказал я, — теперь, во всяком случае, у вас есть подходящий материал.

— О да, и все это настолько к месту, — заявил он с энтузиазмом.

— Разве? — воскликнул я, ошеломленный.

— Ла Фальтерона — точь-в-точь моя героиня. Она никогда не поверит, что я набросал основные черты ее ха рактера, прежде чем встретился с ней.

Я в изумлении воззрился на него.

— Страстная любовь к искусству. Бескорыстие. В ней есть душевное благородство, которое стояло перед моим мысленным взором. Мелочное, пошлое, пустое воздвигало перед ней преграды, но она сметала все со своего пути лишь благодаря величию и чистоте цели. — Он издал счастливый смешок. — Ну разве не удивительно, как природа копирует искусство? Клянусь вам, я попал в самую точку. Я открыл было рот, но придержал язык и только мысленно пожал плечами. Питер увидел в ней то, что хотел увидеть. В его иллюзиях было нечто сродни красоте. Он был в своем роде поэт. Мы пошли спать, а через два-три дня, найдя подходящее для себя пристанище, он от меня уехал.

Вскоре вышла его книга, и, как это обычно бывает со вторыми романами молодых писателей, успех ее был весьма скромен. Критики перехвалили его первое достижение, а теперь были чрезмерно строги. Без сомнения, написать роман о себе и о людях, которых ты знал с детских лет, — совсем не то, что создать книгу о героях вымышленных. Роман Питера был слишком длинным. Дар словесной живописи изменил ему; юмор все еще был грубоват, но Питер мастерски воссоздал эпоху, и в этой романтической истории ощущался тот же трепет истинной страсти, который так поразил меня в его первой книге.

После памятного обеда в моем доме я не видел Ла Фальтероны больше года. Она отправилась в длительное турне по Южной Америке и вернулась на Ривьеру лишь в конце лета. Однажды вечером она пригласила меня отобедать у нее. Мы были одни, если не считать ее компаньонки-секретарши, англичанки по имени мисс Глейзер, с которой Ла Фальтерона обращалась ужасно — запугивала ее, била и ругала, но без которой и шагу ступить не могла. Мисс Глейзер была осунувшаяся особа лет пятидесяти с седыми волосами и желтоватым морщинистым лицом. О Ла Фальтероне ей было известно все. Она одно временно обожала и ненавидела ее. Она могла позлословить на ее счет, иногда потихоньку от великой певицы и ее обожателей копировала ее — я в жизни не видывал ничего смешнее. Но она следила за ней, словно мать. Это она, действуя то с помощью лести, то в открытую, вынуждала Ла Фальтерону поступать достойным образом. Это она написала изобилующие ошибками мемуары певицы. Ла Фальтерона была в бледно-голубой атласной пижаме (ей нравился атлас), в зеленом шелковом парике, по-видимому, для предохранения волос; драгоценностей она не надела, если не считать нескольких колец, жемчужного ожерелья, пары браслетов и алмазной броши на корсаже. У нее было что порассказать мне о своих триумфах в Юж ной Америке. Она тараторила без умолку. Никогда она не пела лучше, и овации, сорванные ею, ни с чем не могли быть сравнимы. Каждое выступление давало полные сборы, и Ла Фальтерона отхватила солидный куш.

— Так или не так, Глейзер? — кричала Мария. В голосе ее слышался сильный южноамериканский акцент.

— В основном так,— ответила мисс Глейзер.

У Ла Фальтероны была малоприятная привычка называть свою компаньонку по фамилии. Но бедную женщину это уже давным-давно перестало раздражать, так что не давало Ла Фальтероне особых преимуществ.

— Как звали того, которого мы встретили в Буэнос- Айресе?

— Кого еще?

— Дура ты набитая, Глейзер. Ведь ты отлично пом нишь. Да того, за которого я еще выходила замуж.

— Пене Запата, — ответила мисс Глейзер без тени улыбки.

— Он разорился. И у него хватило нахальства просить меня, чтобы я вернула ему брильянтовое ожерелье, которое он мне подарил. Сказал, что оно принадлежит его матери.

— Вас бы не убыло, если бы вы и отдали, — сказала мисс Глейзер. — Вы же его никогда не носите.

— Отдать ему? — воскликнула Ла Фальтерона, и ее изумление было так велико, что она заговорила на чистейшем английском. — Отдать ему?! Да ты спятила!

Она посмотрела на мисс Глейзер так, словно заподозрила, что у нее сию минуту начнется приступ, и встала из-за стола, потому что обед уже кончился.

— Давайте выйдем на свежий воздух, — предложила она. — Если бы не мое ангельское терпение, я бы выгнала эту женщину бог знает сколько лет назад.

Мы с Ла Фальтероной вышли, но мисс Глейзер к нам не присоединилась. Сели на веранде. В саду рос великолепный кедр, его темные ветви четко вырисовывались на фоне звездного неба. Море, почти подступившее к нашим ногам, было удивительно спокойным. Внезапно Ла Фаль терона начала:

— Да, чуть не забыла. Глейзер, дура ты этакая, что ж ты мне не напомнишь? — крикнула она. Потом она обратилась ко мне: — Вы меня просто взбесили.

— Очень рад, что вы об этом вспомнили только после обеда, — ответил я.

— Да это все из-за того вашего друга с его книгой. Я не сразу сообразил, о ком она говорит.

— Какой друг? Какая книга?

— Не прикидывайтесь дурачком. Такой безобразный коротышка, плохо сложенный, с лоснящейся физиономией. Он написал обо мне книгу.

— А! Питер Мелроуз! Но эта книга — не о вас.

— То есть как раз обо мне! Вы что, меня дурочкой считаете? Он обнаглел до того, что прислал ее мне.

— Надеюсь, у вас хватило вежливости поблагодарить его?

— Вы полагаете, у меня есть время, чтобы благодарить всех авторов, которые присылают мне свои грошовые кни жонки? Я думаю, Глейзер написала ему. Вы тогда не имели права приглашать меня на обед и знакомить с ним. Я пришла, чтобы сделать вам одолжение, так как считала, что вы любите меня ради меня самой, я и не знала, что меня хотят лишь использовать в корыстных целях. Ужасно, когда нельзя ручаться, что твои старшие друзья будут вести себя как джентльмены. Больше я никогда до конца дней не буду у вас обедать! Никогда, никогда, никогда! Она распалялась все больше и больше, и я прервал ее, пока не поздно.

— Перестаньте, моя дорогая, — сказал я. — Во-первых, в этой книге изображена певица такого типа, к которому вы, по-моему, не...

— Что ж я, по-вашему, судомойка или прачка?

— Ну так вот: характер певицы был уже намечен, прежде чем он увидел вас, а кроме того, он ни в малейшей степени не похож на ваш.

— Как, вы хотите сказать, что он не похож на мой? Да ведь это признали мои друзья! Я считаю, что это в точности мой портрет.

— Мэри, — с упреком произнес я.

— Меня зовут Мария, и вы это знаете лучше всех, а если вы не можете называть меня Марией, зовите мадам Фальтероной или княгиней.

Я не обратил на это ни малейшего внимания.

— Да полно, читали ли вы эту книгу?

— Конечно, читала. Еще бы, когда все вокруг гово рят, что это обо мне.

— Но его героине, примадонне, двадцать пять лет.

— Женщины моего типа не имеют возраста.

— Она музыкальна до кончиков пальцев, кротка как голубица, альтруистична до неправдоподобия, искренна, преданна и бескорыстна. И вы считаете, что вы — такая?

— А какая же я, по-вашему?

— Крепкий орешек, прирожденная интриганка, страшно жестокая и чертовски эгоцентричная.

Тогда она обозвала меня таким словом, какое леди обычно не употребляют по отношению к джентльмену, усомниться в порядочности которого, несмотря на его не достатки, у них нет оснований. Но хотя глаза ее сверкали, я видел, что она нисколько не сердится. Она восприняла данную мною характеристику как комплимент.

— А как же насчет кольца с изумрудом? Или вы будете отрицать, что я ему об этом рассказывала?

История кольца с изумрудом была такова: у Ла Фальтероны был бурный роман с кронпринцем одного могущественного государства, и тот подарил ей изумруд необыкновенной ценности. Однажды вечером у них разгорелся спор, разговор велся в повышенных тонах, упомянуто было и о кольце, и тогда она сорвала его с пальца и бросила в огонь. Кронпринц, будучи человеком бережливым, с криком ужаса бросился на колени и начал разгребать угли, пока не нашел кольца. Ла Фальтерона презрительно глядела, как он ползает по полу. Сама она особой щедростью не отличалась, но не выносила скупости в других. Она закончила рассказ великолепными словами:

— После этого я уже не могла его любить.

Эпизод был колоритным и захватил воображение Питера. Он вставил его в роман почти без изменений.

— Я рассказала об этом вам обоим под большим секретом, а до вас не говорила ни единой живой душе. Вставить этот эпизод в книгу — значит самым непорядочным образом злоупотребить доверием. Ни для вас, ни для него нет оправданий.

— Но я сотни раз своими ушами слышал, как вы рассказывали об этом. И то же самое мне рассказывала Флоренс Монтгомери о себе и кронпринце Рудольфе. У нее эта история тоже была одной из самых любимых. Лола Монтес рассказывала ее о себе и баварском короле. И я уверен, Нелл Гвин говорила то же самое о себе и Карле Втором. Это одна из самых старых историй на земле.

Ла Фальтерона была захвачена врасплох, но через мгновение опомнилась.

— Не вижу ничего странного в том, что такое случалось не раз. Всем известно, что женщины страстны, а мужчины ужасные скупердяи. Я могу вам показать этот изумруд, если хотите. Конечно, мне нужно его вставить в новую оправу.

— В рассказе Лолы Монтес фигурировал жемчуг, — иронически заметил я. — Полагаю, что он был изрядно поврежден.

— Жемчуг? — Ла Фальтерона одарила меня сверкающей улыбкой. — Я вам рассказывала о Бенджи Ризенбауме и жемчуге? Вы можете сделать из этого новеллу.

Бенджи Ризенбаум был человеком необычайно состоятельным, и все на свете знали, что он долгое время был любовником Ла Фальтероны. Именно он купил ей роскошную маленькую виллу, в которой мы и расположились.

— В Нью-Йорке он мне подарил очень красивую нитку жемчуга. Я пела в Метрополитен-опера, а по окончании сезона мы вместе отправились в Европу. Вы с ним не были знакомы?

— Нет.

— Ну так вот, он был в своем роде неплохой малый, но ревнив до безумия. На пароходе мы повздорили, потому что молодой итальянский офицер уделял мне много внимания. Видит бог, на свете нет другой женщины, с ко торой можно было бы так легко поладить, но я никому не дам себя в обиду. К тому же у меня есть чувство собственного достоинства. Я его послала куда следует, надеюсь, вы меня понимаете? — а он ударил меня по лицу. Представьте себе, прямо на палубе. Не буду вам говорить, на сколько я была взбешена. Я сорвала с шеи нитку жемчуга и швырнула ее в море. «Она же стоит пятьдесят тысяч долларов», — произнес Бенджи задыхаясь. «Я ценила ее только потому, что любила вас», — сказала я, круто повернулась и ушла.

— Вы поступили глупо, — заметил я.

— Я с ним не разговаривала целые сутки. В конце концов он стал совсем ручным. Когда мы приехали в Париж, то первое, что он сделал, — пошел к Картье и купил другую нитку, такую же красивую. — Она хихикнула. — Вы сказали, что я поступила глупо? Да настоящую-то нитку я оставила в Нью-Йоркском банке, так как знала, что в следующем сезоне туда вернусь! А в море я бросила поддельную!

Она начала смеяться; смех ее был веселым и мягким, как у ребенка. Такого сорта шуточки ей ужасно нравились. Она хохотала от души.

— Какое же дурачье мужчины, — сквозь смех выдавила она. — А вы-то, вы-то подумали, что я бросила в море настоящий жемчуг!

Она долго смеялась и никак не могла остановиться.

Она была возбуждена.

— Мне хочется петь. Глейзер, поаккомпанируй мне. Из гостиной послышался голос:

— Вы не можете петь после того, как столько умяли.

— Заткнись, старая корова. Сыграй, тебе говорят.

Ответа не последовало, но через мгновение мисс Глейзер взяла первые аккорды одной из песен Шумана. Она была нетрудна для исполнения, и я решил, что мисс Глейзер знала что делала, когда выбрала эту песню. Ла Фальтерона начала петь вполголоса, но, заслышав, что с ее губ слетают чистые и ясные звуки, дала себе волю. Песня кончилась. Наступила тишина. Мисс Глейзер поняла, что Ла Фальтерона сегодня в великолепной форме и хочет петь еще. Примадонна стояла у окна, спиной к освещен ной комнате, и смотрела на загадочно поблескивающее море. На его фоне вырисовывались очертания кедра. Ночь была мягкой и напоенной ароматом. Мисс Глейзер сыграла несколько тактов. Холодная дрожь прошла по моей спине. Ла Фальтерона чуть вздрогнула, и я почувствовал, что ее прорвало.

«Mild und leise wie er lachelt,

Wie das Auge er offnet»[[5]](#footnote-5)*.*

Это была предсмертная песня Изольды. Ла Фальтерона, боясь сорвать голос, никогда не пела в операх Вагнера, но эту вещь, по-видимому, часто исполняла в концертах. И пусть вместо оркестрового аккомпанемента слышалось лишь фортепьяно — сейчас это было уже неважно. Звуки божественной мелодии словно прорезали неподвижный воздух и летели над водой. В этой романтической обстановке, в этой звездной ночи они буквально потрясали. Голос Ла Фальтероны даже и теперь был великолепным, сочным и кристально чистым, и пела она с редкостным чувством, так нежно, так красиво, с такой безысходной болью, что сердце мое расплавилось. Когда она кончила, в горле у меня словно застрял комок, я увидел, что по лицу ее текут слезы. Мне не хотелось говорить. Она тоже стояла молча и смотрела на вечное море.

Что за странная женщина! Я подумал, что лучше изобразить ее такой, как она есть, — с ее чудовищными несовершенствами, — чем, подобно Питеру Мелроузу, видеть в ней средоточие всех добродетелей. Но тогда меня осудили бы за то, что люди несовершенные нравятся мне больше, чем рассудительные. Конечно, она была отвратительным созданием, но в то же время и неотразимым.

1. Уида — псевдоним модной в свое время английской романи стки Марии Луизы де ла Рамо (1839—1908). [↑](#footnote-ref-1)
2. Время царствования короля Эдуарда VII (1901—1910). [↑](#footnote-ref-2)
3. Элен Митчелл Мельба (1861—1931) — известная австра­лийская певица. [↑](#footnote-ref-3)
4. Княгиня *(франц.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. «Тихо, кротко он смеется,  
   И глаза он открывает» *(нем.).* [↑](#footnote-ref-5)